

В. П. НЕКРАСОВ

В ОКОПАХ СТАЛИНГРАДА



ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА

Часть первая

1

Приказ об отступлении приходит совершенно неожиданно. Только вчера из штаба дивизии прислали развернутый план оборонительных работ — вторые рубежи, ремонт дорог, мостики. За требовали у меня трех саперов для оборудования дивизионного клуба. Утром звонили из штаба дивизии — приготовиться к встрече фронтового ансамбля песни и пляски. Что может быть спокойнее? Мы с Игорем специально даже побрились, подстриглись, вымыли головы, заодно постирали трусы и майки и в ожидании, когда они просохнут, лежали на берегу полувысохшей речушки и наблюдали за моими саперами, мастеровившими плотики для разведчиков.

Лежали, курили, били друг у друга на спинах жирных, медлительных оводов и смотрели, как мой помкомвзвода, сверкая белым задом и черными пятками, кувырывается в воде, пробуя устойчивость плотика.

Тут-то и является связной штаба Лазаренко. Я еще издали замечаю его. Придерживая рукой хлопающую по спине винтовку, он рысцой бежит через огороды, и по этой рыси я сразу понимаю, что не концертом сейчас пахнет. Опять, должно

быть, какой-нибудь поверяющий из армии или фронта... Опять тащись на передовую, показывай оборону, выслушивай замечания. Пропала ночь. И за все инженер отдувайся.

Хуже нет — лежать в обороне. Каждую ночь поверяющий. И у каждого свой вкус. Это уж обязательно. Тому окопы слишком узки, раненых трудно выносить и пулеметы таскать. Тому — слишком широки, осколком заденет. Третьему — брустверы низки: надо ноль сорок, а у вас, видите, и двадцати нет. Четвертый приказывает совсем их скрыть — демаскируют, мол. Вот и угоди им всем. А дивизионный инженер и бровью не поводит. За две недели один раз только был, и то галопом по передовой пробежал, ни черта толком не сказал. А я каждый раз заново начинай и выслушивай — руки по швам — нотации командира полка: «Когда же вы, уважаемый товарищ инженер, научитесь по-человечески окопы рыть?..»

Лазаренко перепрыгивает через забор.

— Ну? В чем дело?

— Начальник штаба до себя кличуть, — сияет он белозубым ртом, вытирая пилоткой взмокший лоб.

— Кого? Меня?

— І вас, і начхіма. Щоб чрез пять минут були, сказав. Нет, значит, не поверяющий.

— А в чем дело, не знаешь?

— А біс його знає. — Лазаренко пожимает пропотевшими плечами. — Хіба зрозумієш... Всіх звязних розігналі. Капітан як раз спати лягли, а тут офіцер звязь..

Приходится натягивать на себя мокрые еще трусы и майку и идти в штаб. Командиров взводов тоже вызывают.

Максимова — начальника штаба — нет. Он у командира полка. У штабной землянки командиры спецподразделений, штабники. Из комбатов только Сергиенко — командир третьего батальона. Никто ничего толком не знает. Офицер связи, долговязый лейтенант Зверев, возится с седлом. Сопит, чертыхается, никак не может затянуть подпругу.

— Штадив грузится. Вот и все...

Больше он ничего не знает.

Сергиенко лежит на животе, стругает какую-то щепочку, как всегда, ворчит:

— Только дезокамеру наладили, а тут срывайся, к дьяволу. Жизнь солдатская, будь она проклята! Скребутся бойцы до крови. Никак не выведешь...

Белобрысый, с водянистыми глазами Самусев — командир ПТР* — презрительно улыбается:

— Что дезокамера... У меня половина людей с такими вот спинами лежит. После прививки. Чуть не по стакану всадили чего-то. Кряхтят, охают...

Сергиенко вздыхает:

— А может, на переформировку, а?

— Ага... — криво улыбается Юглидзе, разведчик. — Позавчера Севастополь сдали, а он формироваться собрался... Ждут тебя в Ташкенте не ждутся.

Никто ничего не отвечает. На севере все грохнет. Над горизонтом далеко-далеко, прерывисто

* ПТР — противотанковое ружье. (Здесь и далее примечания автора.)

урча, все туда же, на север, медленно плывут немецкие бомбардировщики.

— На Валуйки прут, сволочи. — Самусев в сердцах сплевывает. — Шестнадцать штук...

— Накрылись, говорят, уже Валуйки, — заявляет Юглидзе: он всегда все знает.

— Кто это — «говорят»?

— В восемьсот пятьдесят втором вчера слышал.

— Много они знают...

— Много или мало, а говорят...

Самусев вздыхает и переворачивается на спину.

— А в общем, зря землянку ты себе рыл, разведчик. Фрицу на память оставишь.

Юглидзе смеется:

— Верная примета. Точно. Как вырою, так, значит, в поход. Третий уже раз рою, и ни разу переночевать даже не удавалось.

Из майоровой землянки вылезает Максимов. Прямыми, точно на параде, шагами подходит к нам. По этой походке его можно узнать за километр. Он явно не в духе. У Игоря, оказывается, расстегнуты гимнастерка и карман. У Юглидзе не хватает одного кубика. Сколько раз нужно об этом напоминать! Спрашивает, кого не хватает. Нет двух комбатов и начальника связи — вызвали еще вчера в штадив.

Ничего больше не говорит, садится на край траншеи. Подтянутый, сухой, как всегда, застегнутый на все пуговицы. Попыхивает трубкой с головой Мефистофеля. На нас не смотрит.

С его приходом все умолкают. Чтобы не казаться праздным — инстинктивное желание в присут-

ствии начальника штаба выглядеть занятым, — копошатся в планшетках, что-то ищут в карманах.

Над горизонтом проплывает вторая партия немецких бомбардировщиков.

Приходят комбаты: коренастый, похожий на породистого бульдога, немолодой уже Каппель — комбат-два — и лихой, с золотым чубом и в заливатски сдвинутой на левую бровь пилотке командир первого батальона Ширяев. В полку у нас его называют Кузьма Крючков.

Оба козыряют: Каппель по-граждански — полусогнутой ладонью вперед, Ширяев с особым кадрово-фронтовым фасоном — разворачивая пальцы кулака у самой пилотки с последними словами доклада.

Максимов встает. Мы тоже.

— Карты у всех есть? — Голос у него резкий, неприятный. Трубка погасла. Но он продолжает машинально ее посасывать. — Попрошу вынуть.

Мы вынимаем. Максимов разворачивает свою мягкую, замусоленную пальцами пятиверстку. Жирная красная линия ползет через всю карту слева направо, с запада на восток.

— Записывайте маршрут.

Записываем. Маршрут большой — километров на сто. Конечный пункт — Ново-Беленькая. Там должны сосредоточиться через шестьдесят часов, то есть через двое с половиной суток.

Максимов выбивает о каблук трубку, ковыряет в ней веточкой, опять набивает табаком.

— Ясна картина?

Никто не отвечает.

— По-моему, ясно. Выступаем в двадцать три ноль-ноль. Первый переход — тридцать шесть километров. Дневка в Верхней Дуванке. Идти будем походной колонной. С дозорами и охранением, конечно. Порядок движения узнаете через десять минут у Корсакова. Он сейчас составляет.

Слова у Максимова отточенны. В каждом слове звучит каждая буква. Он был бы неплохим диктором.

— Первый батальон останется на месте. Понятно? Будет прикрывать. Предупреждаю — поднять надо все. И чтоб никаких отстающих. Переход большой. Просмотрите обувь, портянки...

Тонкими пальцами придерживая трубку, он выпускает короткие, энергичные струйки дыма. Прищурившись, смотрит на Ширяева.

— У тебя что есть, комбат?

Ширяев встает, одергивает гимнастерку.

— Активных штыков двадцать семь. А всего с ездовыми и больными — человек сорок пять.

— Вооружение?

— Два «максима». «Дегтярева» — три. Минометов восьмидесяти двух — три.

— А мин?

— Штук сто.

— А пятидесяти?

— Ни одной. И патронов не очень. По две ленты на станковый и дисков по пять-шесть на ручной.

Ширяев говорит спокойно, не торопясь. Чувствуется, что он волнуется, но старается не показывать волнения. На него приятно смотреть. Подтянутый ремень. Плечи развернуты. Крепкие икры.

Руки по швам, слегка сжаты в кулаки. Из-за расстегнутого воротника выглядывает голубой треугольник майки. Странно, что Максимов не делает ему замечания.

— Та-ак... — Старательно сложив, Максимов прячет карту в планшетку. — Ясно... С тобой останется Керженцев, инженер. Понятно? Продержитесь два дня. Восьмого с наступлением темноты начнете отход.

— По тому же маршруту? — сдержанно спрашивает Ширяев. Он не сводит глаз с Максимова.

— По тому же. Если нас не застанете... Ну, сам знаешь, что тогда... Всё...

Ширяев понимающе наклоняет голову. Все молчат. Кто-то, кажется, Каппель, прерывисто вздыхает.

— Я сказал: всё! — круто поворачивается в его сторону Максимов. — По местам!

— Людей сейчас снимать? — тихо спрашивает близорукий, похожий на ученого комбат-три.

Лицо Максимова сразу из бледного становится красным.

— Вы на фронте или где? Хотите, чтобы всех людей перебило? Нужно же, в конце концов, голове иметь на плечах...

Все встают, отряхивая песок и траву.

— А вы ко мне зайдите. — Это относится ко мне и Ширяеву.

В блиндаже тесно и сыро, пахнет землей. На столе лежат схемы нашей обороны — моя работа. Все утро я их делал, торопился с отправкой в штадив. Срок был к двадцати ноль-ноль.

Максимов аккуратно складывает листочки, подгоняет уголки, разрывает крест-накрест, клочки поджигает коптилкой. Бумага съеживается, шевелится, чернеет.

— Немец к Воронежу подошел, — говорит он глухо, растирая носком сапога черный хрупкий пепел. — Вчера вечером.

Мы молчим.

Максимов вытягивает из-под стола алюминиевую фляжку, обшитую сукном, с привинчивающейся кружкой. Поочередно пьем из этой кружки. Самогон крепкий — градусов на шестьдесят. Спират в горле. Закусываем соленым огурцом, потом выпиваем еще по одной.

Максимов долго трет двумя пальцами переносицу.

— Ты отступал в сорок первом, Ширяев?

— Отступал. От самой границы.

— От самой границы... А ты, Керженцев?

— Я — нет. В запасном был.

Максимов с рассеянным видом жует огурец.

— Дело дрянь, в общем... «Колечка» нам не миновать. — Он прямо в упор смотрит Ширяеву в глаза. — Береги патроны... Будешь здесь сидеть эти два дня — много не стреляй. Так, для виду только. И в бой не вступай. Ищи нас. Ищи... Где-нибудь, да мы будем. Не в Ново-Беленькой, так где-нибудь рядом. Но помни и ты, Керженцев, — он строго глядит на меня, — до восьмого ни с места. Понятно? Хоть бы земля под вами провалилась. Майор так и сказал: «Оставь Ширяева, а в помощь Кер-

женцева ему дай». Это что-нибудь да значит... Да! С обозами ты как решил?

Ширяев улыбается:

— Да ну их к черту, эти обозы! Забирайте! Три повозки только оставляю для боеприпасов. И то много...

— Ладно. Заберем.

В землянку заглядывает штабной писарь — рыхлый круглолицый сержант. Спрашивает, как с зеленым ящиком быть — везти или сжигать. Капитан говорил как-то, что сжечь бы не мешало — там нет ничего нужного.

— Сжигай к аллаху! Полгода возим за собой это барахло. Сжигай!

Писарь уходит.

— Вы в сны верите, Керженцев? — спрашивает вдруг Максимов почему-то на «вы», хотя обычно обращается ко мне, как и ко всем, на «ты». Не дожидаясь ответа, добавляет: — У меня сегодня во сне два передних зуба выпали.

Ширяев смеется. У него плотные, в линеечку, зубы.

— Бабы говорят, близкий кто-то умрет.

— Близкий? — Максимов рисует что-то кудрявое на обрывке газеты. — А вы женаты?

— Нет! — почти в один голос отвечаем мы.

— Напрасно... Я вот тоже не женат и теперь жалею. Жена необходима. Как воздух необходима. Именно теперь...

Кудрявое превращается в женскую головку с длинными ресницами и ротиком сердечком. Над левой бровью родинка.

— Вы не москвич, Керженцев?

— Нет, а что?

— Да ничего... Знакомая у меня была Керженцева... Когда-то, до войны... Зинаида Николаевна Керженцева. Не родственница?

— Нет, у меня в Москве никого нет.

Максимов ходит по землянке взад и вперед. Землянка низкая, ходить приходится нагнув голову. У меня такое впечатление, что ему хочется что-то рассказать, но он или стесняется, или не решается.

Ширяев взглядывает на часы — маленькие, на черной тоненькой тесемочке. Максимов замечает, останавливается.

— Да-да... Идите, — скороговоркой говорит он, — идите, времени мало.

Мы встаем и выходим из землянки. Он идет вслед за нами. Канонады не слышно. Только лягушки квакают.

Мы несколько минут стоим, прислушиваясь к лягушкам. Тени от сосен доходят уже до самой землянки. Две мины, одна за другой, свистя, медленно пролетают над нами и разрываются где-то далеко позади — батальонные, по-видимому.

Ширяев ухмыляется:

— Все по круглой роше жарит. А батареи уже три дня как нет там.

Мы прислушиваемся, не летят ли еще мины. Но их больше нет.

— Ну, идите, — говорит Максимов, протягивая руку. — Смотрите же...

Делает движение, будто хочет обнять, но не обнимает, а только крепко пожимает руки.

— Патроны береги, Ширяев, не транжирь.
— Есть, товарищ капитан!
— Смотри же... — И он уходит твердой походкой к кустам, где мелькают связисты, сматывающие провода.

С Ширяевым мы уславливаемся — я приду к нему часа через полтора-два, когда улажу свои дела.

2

Не везет нашему полку. Каких-нибудь несчастных полтора месяца только воюем, и вот уже ни людей, ни пушек. По два-три пулемета на батальон... И ведь совсем недавно только в бой вступили — двадцатого мая, под Терновой, у Харькова. Прямо с ходу. Необстрелянных, впервые попавших на фронт, нас перебрасывали с места на место, клали в оборону, снимали, передвигали, опять клали в оборону. Это было в период весеннего харьковского наступления. Мы терялись, путались, путали других, никак не могли привыкнуть к бомбежке.

Перекинули нас южнее, в район Булацеловки, около Купянска. Пролежали и там недельки две. Копали эскарпы, контрэскарпы, минировали, строили дзоты. А потом немцы перешли в наступление. Пустили танков видимо-невидимо, забросали нас бомбами. Мы совсем растерялись, дрогнули, начали пятиться. Короче говоря, нас вывели из боя, сменили гвардейцами и отправили в Купянск. Там опять дзоты, опять эскарпы и контрэскарпы, до тех пор пока не подперли немцы. Мы недолго обороняли город — два дня только. Пришел при-

каз: на левый берег отходить. Взорвали железнодорожный и наплавной мосты и окопались в камышах.

Вот тут-то уж, думалось нам, долгонько полежим. Черта с два немца через Оскол пустим.

А он и не лез. Постреливал в нас из минометов, а мы отвечали. Вот и вся война. По утрам появлялась «рама» — двухфюзеляжный рекогносцировщик «фокке-вульф», и мы усиленно, и всегда безрезультатно, стреляли по нему из ручных пулеметов. Спокойно урча, проплывали куда-то в тыл косяки «юнкерсов».

Саперы мои копали блиндажи для штаба, деревенские девчата рыли второй рубеж вдоль Петропавловки. А мы, штабные командиры, составляли донесения, рисовали схемы и время от времени ездили в штадив на инструктивные занятия.

Жизнь текла спокойно. Даже «Правда» стала до нас добираться. Потерь не было никаких.

И вдруг как снег на голову — приказ...

На войне никогда ничего не знаешь, кроме того, что у тебя под самым носом творится. Не стреляет в тебя немец — и тебе кажется, что во всем мире тишь и гладь; начнет бомбить — и ты уже уверен, что весь фронт от Балтийского до Черного задвигался.

Вот и сейчас так. Разнежились на берегу сонного, погрязшего в камышах Оскола и в ус не дули — сдержали, мол, врага... Громыхает там на севере — ну и пусть громыхает, на то и война.

И вот как гром среди ясного неба в двадцать три ноль-ноль шагом марш...

И без боя... Главное, что без боя. У Булацеловки тоже пришлось покинуть насиженные окопы. Но там хоть силой заставили нас это сделать, а здесь... Только вчера мы с Ширяевым проверяли оборону. Ну, честное же слово, неплохая оборона. Даже командир дивизии похвалил за расстановку пулеметов и прислал инженеров из 852-го и 854-го учиться, как мы дзоты под домами делаем.

Неужели немец так глубоко вклинился? Воронеж... Если он действительно туда прорвался, положение наше незавидное... А по-видимому, прорвался-таки, иначе не отводили бы нас без боя. Да еще с такого рубежа, как Оскол. А до Дона, кажется, никаких рек на нашем участке нет. Неужели до Дона уходить?..

— Товарищ лейтенант, повозку чем грузить будем?

Новоиспеченный командир взвода, молоденький, с чуть-чуть пробивающимися усиками, вопросительно смотрит на меня.

- Мины будем грузить? — спрашивает.
- Машины не дали из штадива?
- Не дали.
- Закапывай тогда. На берегу остались еще?
- Остались. Штук сто.
- Ладно. Десятка два возьми с собой на всякий случай, остальные закапывай.
- Ясно.
- Лопаты все?
- В третьем батальоне тридцать штук.
- Топай за ними. Живо!